

Александр БАЛТИН

РУССКИЙ ПАНТЕОН

Штрихи к литературному портрету России¹

... + Пастернак + Булгаков + Платонов + Астафьев...

ПАСТЕРНАК

1

Февраль ворвётся шумами и жаждой творчества в русло поэзии русской; февраль, увиденный Пастернаком так выпукло, до слёз отчётливо, до боли живописно...

Ранние стихи топорщатся, будто не уместиться им в клетках четверостиший, словно сама страница им мала, и требуется пролиться ливнем...

Они, лилово изгибаясь и фиолетово играя оттенками, взрываются мощным принятием жизни, какой бы она ни была, и алхимическая реакция внутри сосудов стихотворений сообщает такое же настроение читающему, несколько ошеломляя его.

Причудливо сверкают рифмы, будто опровергая весь существовавший доньше рифмо-ряд; и заряд Маяковского кажется слишком механическим по сравнению с благословенной природой и её дыханием, крупно увиденными и почувствованными Пастернаком.

Жизнь всегда в разлив, даже когда неизвестно, какое тысячелетие на дворе.

Ни одного слово вхолостую — только деловой и необыкновенно приподнятый отчёт о пребывании в жизни.

Евангельские стихи Пастернака, технически опровергающие его раннего, поднимаются до высот осознания тайны, которую нельзя осознать:

*Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.*

Из темноты мерцающий свет — свет, шедший от рождественской ночи, обретает густоту и плотность, сообщая ощущение — без веры жизнь уйдёт в пустоту...

...Была «Вакханалия» — зимнего города, мистически затканной снежными нитями Москвы, где грандиозное театральное представление словно выплёскивается в именованный кутеж буйного нутра безвестной квартиры; где каждое четверостишие отчеканено с предельной чёткостью, не допускающей никаких двусмысленностей.

Пастернак двигался путём технической аскезы: рифмы позднего просты и безыскусны, глубина стиха, кажется, становится беспредельной.

Плоды мудрости часто даруются на последней грани, поэтому читая предсмертный монолог больного в стихотворении «В больнице», веришь в возможность разгадки тайны тайн...

2

Расхожая бытовая формула: всё гениальное просто — опровергается более глубоким взглядом на реальность и её содержание: разве проста квантовая теория? «Божественная комедия»?

¹ «Русский пантеон» начинается в №3 «Невского проспекта».

Гранёная — и вместе построенная по принципу сот проза Пастернака из того же ряда опровержений.

Оставив в стороне пресловутого Живаго — стихи которого, очевидно, из вершин и Пастернака, и поэзии русской, — в относительно короткой его прозе откроем бездны — в том числе благодаря продолжению многих характерных черт его поэзии: выпуклость, прочувствованная мысль, букеты ассоциаций — будто жанровые границы стираются, и ступени лестниц становятся общими...

«Детство Люверс», как вход в тайну, чьи мерцания совмещают и бытовую необычность отворённого ребёнком старого родительского шкафа, и ощущение бесконечности неба.

«Охранная грамота» пламенеет письменами почти библейской мощи, где мудрость сочится терпким соком мистических плодов.

А как сильно выстраивает Пастернак-переводчик доказательную систему авторства Шекспира!

Не поспоришь...

Проза большого поэта всегда интересна как дополнительный аспект его познаний о мире; проза Пастернака, сообщаясь с поэтическим его сводом, расширяет опытное постижение читателем пределов жизни весьма и весьма значительно.

3

Переводить сутью суть; дремучий, тёмный, насыщенный так и не истолкованными символами язык Шекспира обращать в буйное цветение русской речи, снова выстраивая классических Гамлета, Макбета, Ромео и Джульетту...

Казалось, Пастернак переводил самым пульсом поэзии, не игравшим, но всерьёз бившимся в сердце сердца его собственного творчества.

Шекспир был обновлён: он действовал на русских двадцатого века так, как некогда на британцев века Елизаветы, сквозь тёмный его, непроторенный язык видевших свет монументальных персонажей.

Гамлет точно беседовал с Фаустом, алчущим поймать бабочку мгновения в сачок чуда; а вот — одинокий Фауст, изучивший алхимию и философию, сочно разочаровавшийся, путешествующий лабиринтами русской речи и как будто русской яви.

Грузинская лоза приносила налитые солнцем соки плода в недрах переводов из Табидзе и Яшвили; и самородки-самоцветы поэзии европейской играли под солнцем русского слова.

И громоздилась, уходя в небеса духа, глобальная библиотека пастернаковских переводов.

4

Ранние стихи Пастернака были питательны для поэтических полей: в плане новизны рифмы, необычных ритмов, специфического словоупотребления...

Детский восторг множился на такое же детское удивление — и взрослые стихи раннего периода раскатывались пригоршнями драгоценных брызг; однако, думается, подлинная поэтическая бездна была исследована Пастернаком именно в стихотворениях Юрия Живаго; в цикле, собравшем в себе весь его колоссальный интеллектуальный опыт и давшем пик поэтических возможностей.

Затихает гул.

Гамлет, тысячи раз умиравший, выходит на подмостки.

Стихотворение мерцает таинственно, представляя собой модель всякой жизни, ибо любой убедится в вещи верности пословицы, которой завершается стихотворение.

*Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.*

Равно как и в том, что порядок действий продуман не нами и выбор человека в жизни — весьма относителен.

Евангельские стихи цикла — точно выходят из темнот, проявляясь с такой степенью провидческой яркости, что, кажется, любые богословские толкования евангельских текстов делаются излишними: достаточно этих созвучий.

Таких например, как:

*Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.*

И то, что спор нельзя решить железом, человечество убеждалось много раз, продолжая усердствовать в своих заблуждениях и дурных неистовствах.

5

Вакханалия, перенесённая в Москву, вакханалия вселенской вьюги, театральных премьер, именитых кутежей; вакханалия жизни: опьяняющей и страшной, чреватой и приводящий к выводам из совсем другого стихотворения:

*Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изденье,
И прячешь, как перстень, в футляр.*

Это к Богу, к Богу...

Поздно ли обращается к нему Пастернак?

Но вся поэзия его пронизана такими удивительными токами жизни, столь насыщенно пульсирует её космосом, что, кажется, никогда не выходил из состояния сплошной веры: тотальной: в слово, которое было Богом и которое было у Бога.

Ранний отличается от позднего: но евангельские стихи — не слишком от стихов пейзажных: изображается пейзаж души.

«Звезда Рождества» словно поднимается — ступенями невероятного повышения — от обыденности пейзажа, стоявшей зимы, до постепенного вовлечения в таинственный круговорот всего, всех, пастухов, волхвов, самого младенца.

Тайная, мерцающая снегом и вечностью музыка распускается за звучанием:

*И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдаль все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирелей гул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.*

Кажется, в величественном кружении совмещается возвышенное и земное, и феи здесь столь же логичны, как золотые шары детства, как проходы по галереям, полным сияющего великого масла картин...

Голос раннего Пастернака был задорен, но и серьёзен: величие волшебных ливней захлёстывало его: как увлекало разнообразие возможностей словесного эксперимента; голос позднего сух и строг, но стихи последнего периода напитаны самой субстанцией поэзии, точно познал её тайны до предела: дошёл до самой сути, как и декларировал.

Это не означает, что не было подобного в раннем...

Ведь — «Какое, милые, у нас / Тысячелетие на дворе?» — выражает и восторг, и сопричастность космосу: с той мерою сил, когда действительно уже не очень важно точное определение тысячелетия.

Пастернак двадцатого века.

Пастернак вселенскости.

Звукопись раннего не важна позднему: тут важно другое: выразить те бесконечные пределы бытия, которые постиг кодом своей жизни; и симфониями, органами, необычайной музыкой звучат слова Христа:

«Я в гроб сойду и в третий день восстану...»

...Пастернак природы: всегда настолько разнообразной, что одушевлённость её не вызывает сомнения.

Пастернак раннего звука: щёлк, перещёлк, посвист, пир звуков, триумф звукописи. И он же — поздней словесной аскезы: рифмы, как у большинства поэтов, никакой изощрённости, не в них дело; сам лад стиха — строен и строг, никакой порывистости, всё осталось позади.

Всё осталось навсегда: и такой контраст между ранним-поздним подчёркивает величие фигуры, увеличившей объём русского поэтического космоса очень серьёзно.

6

«Спекторский» пронизан и наэлектризован прозой: ломящейся в жизнь Пастернака, требующей его к себе.

Но — поэзия «Спекторского» очень красочная, пышно-звуковая, полная — до избыточности — предметности: через какую просвечивает символическая бездна...

Символическая: не истолковать никогда подлинно, не определить, но можно передать, соприкасаясь с ней, определённые нюансы, полученные от этого соприкосновения:

*Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребечества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил просесть.*

Роман — с развивающейся фабулой и сюжетом, густо забирающим судьбы людские; и Сергей Спекторский, представленный на новогодней даче, в кругу друзей, и его влюблённость расцвечены дуговым падением словесных звёзд.

Рифмы пастернаковские, достаточно изощрённые: не такими он пользовался, сочиняя «Когда разгуляется» и стихи Юрия Живаго; метафоры неожиданные, порою ошеломляющие стяжкой с тугими безднами природы и культурологического космоса:

*Чужая галь. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчуждёньем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.*

Сюжет необходим: роману, поэме, человеческой жизни; влюблённость Спекторского пройдёт, объект тогдашней — станет революционеркой...

Пастернак, производя революцию в слове, думается, сложно воспринял революцию в действительности.

...«Высокая болезнь» бушевала звуковым гулом: по напряжённым проводам строк текло расплавленное содержание, чтобы:

*...Звук исчез
За гулом выросших небес.*

Думается, одним из точнейших портретов Ленина является кратко-словесный, сделанный Пастернаком:

*Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.*

Кажется — нечто сущностное поймано с необыкновенной ювелирно-хирургической точностью, и зафиксировано так же...

...Снова полыхают огни на новогодней даче, куда приехал Спекторский, чтобы вспоминать потом о былом, дав богатый материал роману в стихах.

...«Девятьсот пятый год» совмещал, смешивая в алхимическом сосуде поэта лирику и историю: и характеристика зимы, забредающей в нашу прозу, перенасыщена световым материалом бытия, столь кристаллически изученного Пастернаком.

Гул историй начнётся позже; промелькнёт и детство с ВХУТЕМАСом...

Стих вьётся и чеканится, распластывается эллипсами и собирается кругами; стих,

который невозможно спутать ни с чьим: составляющий суть поэм Пастернака.

7

Когда разгуляется — станет яснее сущность всего: в том числе бытования на земле.

Книга открывалась мощно: стихами, попавшими во все хрестоматии.

«Во всём мне хочется дойти до самой сути» — точно кредо поэта: и — осуществлено оно было во многом, сколь бы ни сложен был путь подобного поиска...

«Быть знаменитым не красиво...» — как нельзя лучше подходит к нашему времени, особенно:

*Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.*

Тут мы превзошли всех: сколько пустышек, людей, совершенно ничтожных, не внёсших ничего в интеллектуальную и нравственную копилки человечества, превознесено до... нет, не небес: именно — до состояния «на устах у всех...»

Стих книги — в сравнении с ранними сборниками Пастернака аскетически строг, иногда суров: выводы, накопленные за полвека, не допускают иллюзий:

*Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь,
И если ты сам не калека,
Ты должен был что-то понять.
Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность — проклятье
И счастья без подвига нет.*

Хлеб бытия — сложное понятие, но стихотворение, названное «Хлеб», говорит о многом — столь же насущном, сколь и... отчасти печальном.

Хотя печаль редко просвечивает в поэзии Пастернака: слишком связанной с мудростью, с постепенным обретением оной.

И тишина, и краски пейзажей даны... словно под увеличительными стёклами вечности: и точная крупность картин завораживает:

*Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на горюг развиле.*

В золотые короба собраны слова не менее золотые: жизнь просвечена стихом, исследована им, и результат исследования — силён, как редко бывает.

8

Сильна жизнь, разливается, пусть даже люди брюзгливы и жают, как змеи в овсе. Особая оптика Пастернака!

Словно всё увеличено: и вместе — тянется к свету, каждое стихотворение — как растение, стремящееся к нему, высшему, неизречённому.

Неизречённому: однако приходят слова, собираются в тексты, мускульно стягиваясь, сильно, пружинно выбрасывая в мир новые смыслы.

Или — новые ощущения мира.

Темы и вариации: вариации вечных тем: и как мощно прозвучит жизнь Шекспира, точно воплощённая по-новому словом Пастернака, как заиграет тайнами Лондон, и...

Мефистофель пронесётся на облаке.

Новые вспышки — и новые зигзаги полёта: струи воздуха неистовы, они свистят и закручиваются турбулентно.

Разные вариации, разные темы.

Неистовство гула истории.

И громopodobная весть — но и счастья тоже — сияет пространству.

БУЛГАКОВ

1

Все три романа Булгакова дают разные варианты языка — так, будто писал их не один автор; и это разноголосица точно определяет масштабы дарования: менее одарённый писатель на такое не способен.

Густой, хочется сказать, мясной, вещный язык «Белой гвардии», где пласты городских описаний возникают великолепными холстами масляной живописи, и — несколько небрежный, шероховатый язык «Театрального романа», чудесная галерея персонажей которого вовсе не страдает от мнимого изъяна...

И, наконец, язык сакрального романа, который если уж определять — то в категориях чуда.

Интересно читать ранние варианты — как вылуплялись постепенно персонажи, как выкристаллизовывался подлинный стиль...

О! это стиль огня и поэзии, язык в высшей степени цветовой: роман дан в зелёных тонах — от нежного рассветного неба до насыщенного малахита, но иудейские главы текут песочным золотом: льются в перешеек песочных часов мысли — необыкновенной и необычайной.

Известный нам по сумме евангелий Иисус предстаёт в ином свете: очень человеческий, без божественного отблеска как будто...

Но — кто может поручиться, как было на самом деле? Ведь все евангелия — это списки со списков со списков: а тёплая доброта и кроткая мудрость Иешуа так соотвествуют фактору чуда — разумеется, превосходящему знания медицины.

Возможно, грандиозная махина чрезвычайно сложного романа явилась Булгакову в целостности: во сне, к примеру, но уточнялись линии, уяснялись персонажи, вспыхивали факелы языка постепенно, очень медленно.

...бывают, особенно сейчас, люди, прочитавшие за жизнь 10-15 художественных книг, но о «Мастере и Маргарите» (часто ещё о «Мёртвых душах») и они будут говорить с теплотой.

Два романа, озарённых чудом; два романа, об устройстве которых хочется рассуждать, но все рассуждения бесплодны: ибо сделанное превосходит способности судящих.

Внешний, юмористический слой «Мастера», конечно, наиболее легко считывается, он относительно прост; но подспудно разворачивающиеся драмы: от евангельских, по своему трактуемых идей, до освещения вариантов расплаты, можно расшифровывать до бесконечности.

Глубоки спуски в бездны романа — но бездны эти световые, сколь бы ни рядили церковные люди — допустимы ли симпатичные изображения нечисти: роман светлый, от света, и ради его укрепления в этом мире написан.

Иначе бы — не читался так, ибо подспудно любой из нас — представителей конфликтного и жестокого вида — тяготеет к свету...

2

Жизнь пёстрая, как клетка с попугаями, жизнь шумная, в чём-то сбитая, часто напоминающая броуновское движение: такова данная в фельетонах Булгакова. Иные из них, как, например, «Вода жизни», совершенны в плане языка: сила глаголов! — и каково их речевое разнообразие в панораме бега жителей села за водкой!

Мошеники, чиновники, красноармейцы, банщики, спириты, полуграмотные мычащие существа, дворники, обитатели коммуналок — неистовство красок и смех, смех...

Чудесный, хоть и несколько страшный мир: иные персонажи могут укусить.

3

Великолепный бурлеск «Зойкиной квартиры»! — точно рвётся всё с петель, проносится в пёстром танце: словно секунда остаётся до провала, но сверкают алмазно реплики, продолжая крутую лепку персонажей.

Трагические изломы «Бега», иногда смазанные мазью комического, чтобы не было так страшно: неистовое движение к иллюзорной цели, какая пружиной отбросит назад.

Классическое сияние «Дней Турбиных»: узлы драмы в недрах такой тёплой (бывшей таковой) частной жизни.

...точно открыты были Булгакову механизмы глобального драматургического устройства мира, и пьесы его, живущие яркими красками, не в меньшей степени держутся на столь тонких тонах и оттенках, что дух захватывает.

4

Может ли под маской соблазна оказаться истина?
 Может ли за истиной скрываться другая?
 Может ли под маской Москвы таиться иная Москва — ветхозаветная, первоосновная?
 Трамвай уже проехал, уже отрезана голова, и уж тем более Аннушка уже...
 Аннушка — скверная карга, чёрная функция, вспыхивающая светом действия, без которого невозможно очищение. Именно «А» начинает алфавит...
 Именно в астрологии заложено много соблазнов...
 Космос разрывается щелями — но что выпадает из оных щелей?
 Фейерверки сатанинского веселья или ступки мудрости, призывающие насельников земли жить по-другому?
 Голова отсеченная, голова, варившая ложь, голова, мешавшая малым сим двигаться к свету...
 Опрощённая история Спасителя...
 Опрощённая ли? Или воистину — Сын Человеческий, свершивший труды духовные колоссального объёма, показавший, как, изничтожив в себе низовую пустыню праха, вырастить цветок своей сокровенной души, цветок, перерастающий смерть, звучащий красками подлинного бессмертья?
 Но — чьими глазами увидено поле жизни Иешуа?
 Куда, в какие бездны были растворены глаза Мастера?
 Вавилонская Москва переливается огнями, гудит и играет, стремится куда-то в фейерверке текучих, неуловимых брызг?
 Не бойтесь кота — он не страшнее ваших желаний.
 Не бойтесь Азazelло — он не больший убийца, чем ваши вождения и похоти.
 Едет, едет трамвай — увозя от мертвечины любого официоза, массивным колесом грозя ложному — отсеку.
 Космическая арфа романа полнится таинственной звукописью, и... как знать... не наше ли будущее дано им в зашифрованном виде?

5

Николка Турбин, соприкасающийся с бездной реальности: с клокотанием тихой этой и страшной бездны, когда он в морге ищет тело полковника Най-Турса...
 Николка Турбин, получающий опыт, от которого смердит — и скорбь разливается едче нашатыря...
 Город — этот роскошный, полный великолепием город, разливающийся снегом — он блестит, как покровы из классического стихотворения Пушкина; снег переливается и играет миллионом оттенков, снег, не становящийся хуже от происходящего и творимого людьми, врывается в недра страниц, сверкая совершенством...
 И так благодороден Алексей Турбин, что будто никакая подлость невозможна.
 И так хорош почти отмороживший ноги Мышлаевский, не позволяющий притом водкой, принесённой в кармане, растереть себе их...
 Ощущение, будто листаешь старый альбом, где даже не фотографии — дагерротипы: и среди них властная, добрая, красивая мать, уходящая в век, завещающая: дружно живите; и среди них лица такой перламутровой свежести и матовой нежности, что ныне как будто некоторый код потерян...
 Он не потерян — затёрт, запылён...
 И жертвенность Белого движения, подспудно осознававшего проигрыш своего предприятия, и неистовство красных, пусть и мешавших кровь со световым порывом, так чётко алхимически смешаны Булгаковым в сосуде «Белой гвардии», что...
 ...офицеры, кончающие собой от безнадёги, которая стала реальностью.
 Реальность, становящаяся иной из-за напора всего: слишком переогромленного...
 И Николка Турбин, ищущий тело полковника Най-Турса...

6

Возникло, заблестало фейерверком, зашумело...
 И слухи поползли по Москве, точно преображённой той, булгаковскою...
 Роман стал известен моментально, точно работала магическая сила; и это ныне —

наиболее известный, пожалуй, русский роман: никто из самых расклассиков тягаться не мог бы — читали все, гонялись за книгами, шутки уходили в народ; читали все — от школьников до академиков, от гуманитарных интеллектуалов до простецов; каждый находил нечто своё, заповедное в произведении Булгакова; старшеклассники — в массе воротящие нос от классиков литературы — читали сами, без принуждения, взахлёб...

Щурился — сыто и хитро — кот: совсем не страшный, хоть и представлявший нечисть.

Вообще — нечисть была весела, задорна, великолепна; многие бы не отказались встретиться...

Роман уточнялся, восстанавливался, дополнялся, изучался, приобретал окончательные формы в читательском сознании.

Пласты его многослойности расшифровывались по-разному; но читать можно было и просто, без всяких расшифровок: считывая внешние слои, не погружаясь слишком в глубины...

И сейчас вряд ли ответить стопроцентно: откуда такая версия евангельской истории; кто этот Иешуа — Иисус ли?

...слишком не традиционное толкование — даже для безрелигиозной, атеистической среды СССР; даже для любой вариации человеческого восприятия: но — образ такой, что близок человеку: любому — какой он есть: без сложных крайностей канонических евангелий, без мистических притч, требующих многократного (да и верного ли?) толкования...

Задумайтесь: как человек... теперь уже 21 века, в любом случае знакомый с физиологией, может верить, что хлеб и вино, принятые в недра тела по особому ритуалу, превратятся в плоть и кровь распятого?

Не вернее ли прочесть так: ешьте хлеб-плоть-суть моего учения и пейте вино-кровь-сущность моих слов — то есть следуйте мне и тогда сможете построить нечто приемлемое на земле и, избавившись от страха смерти, познать миры иные?

Иешуа действует скорее образом, чем речами, однако Пилат, также очень привлекательный, покорённый и тем и другим, решает расправиться с Иудой, коли не удалось получить на долгое время философа в личное пользование...

Феноменально: достигающие предельной пластичности воплощения — написанные главы о Иешуа, в которые, кажется, можно войти, чтобы стать свидетелем древних событий, — массового читателя «Мастера» интересовали меньше всего — всё-таки символика всегда сложна.

Легче всего считывался юмористический слой: пенящийся, играющий переливами шампанских струй, бесконечно оригинальный по языку...

Все три романа Булгакова, кстати, написаны разными вариантами языков — при чётком ощущении одного автора; и «Мастер» в этом отношении вообще не имеет аналогов: не соотнести в равной мере ни с кем из классиков, ни с современниками.

Так или иначе, именно журнал «Москва» в 1966-67, введя в читательский космос самый известный ныне русский роман, совершил своеобразный подвиг, открыв самый высокий вариант космоса булгаковского...

7

*Быт коммунальный, примусы и свары,
Литературный лакирован быт.
Левиафан страны считался с вами —
Писатели. Кто был там знаменит?*

*Жратва с весельем в Массолите. Лихо!
Что Воланду расскажет Берлиоз?
Веди себя редактор тихо-тихо,
Был жив бы. Тут сомнительный вопрос.*

*У! сгустки метафизики романа!
Иешуа как будто не Иисус.
Ершалаим, чьи башни окаянно
Даны, коль на Пилата римский вкус.*

*Москва петляет в переулках снова.
Прокатится трамвай. Проедет кот.
Булгаковское золотое слово
К неведомому знанию зовёт.*

8

Иван Бездомный, только что бывший примитивным антирелигиозным рифмоплётотом, принимает ледяное крещение в водной купели Москвы-реки, описанной с необыкновенной пластикой, и, лишённый привычных покровов одежды, то есть привычного, прошлого себя, нацепив на грудь иконку и прихватив одну из свечей, хотя и едва ли вкладывая в это религиозный (скорее — суеверный) подтекст, отправляется в вертеп вавилонский: ресторан Массолита...

О! тут гудит неистовство плоти, торжествует венец обжорства, горит ярмарка тщеславия; тут всё пронизано токами, отрицающими высшее начало, и Иван появляется здесь, как... своего рода блаженный, причастившийся тайного знания.

Разумеется, он сочтён сумасшедшим: тема чистоты, обретаемой сквозь безумие, не раз вспыхивала остро в русской литературе: скажем, в «Палате №6»...

Иван совлекает ветхого старого Ивана, чтобы родиться новым: стремящимся к знанию, отказавшимся от пустого, хотя и приносившего признание, стихоплётства...

Он станет профессор: потом, в самом конце, когда завершится неистовая феерия воландовского разгула и пройдут годы: скромным учёным, не совсем нормальным.

Блаженным.

Превращения и метаморфозы, переодевания — причём так, что скидывается ветхая жизнь, — постоянно происходят в недрах солнечно-волшебного романа: но — только с теми, для кого это возможно.

Так, косно-безрелигиозный, тупо уверенный в своей правоте, смеющийся надо всем таинственным и непостижимым Берлиоз их не заслужил: сомневайтесь, Михаил Александрович?

А вот вам доказательство от дьявола: чтобы не сомневались...

Могущества разрушаются, как ненужные картонные игрушки: всесильный, казалось бы, Пилат становится вечно взыскующим истины несчастным, стремящимся вновь и вновь убедиться, что казни не было, ненавидящим свою громадную славу...

Поэт Рюхин?

Какие уж тут превращения — только водка под рыба: чтобы забыться.

Не всемогущ и Воланд: он может только доставить Мастера к месту назначения: никак не влияя на посмертную его участь...

Странно показано и посмертье — будто двоящееся в сложных зеркалах недоступного человеку знания...

Ворох феерических, сверкающих суммами невероятных оттенков приключений выброшен в мир с такою силой, что мир читает, захлёбываясь, чаще всего вбирая внешние слои, реже погружаясь в глубь.

Резко отличное от канонических толкование жизни Христа может ошарашить: однако именно кротостью, пронизанной любовью, и завораживает оно; равно мудростью: ведь действительно: перерезать волос может только тот, кто подвесил.

Продолжающийся роман в романе: сначала рассказ неизвестного, оказавшегося Воландом, затем — сон Ивана, после — перечитывание Маргаритой книги Мастера...

Финала нет — отсутствует воскресение: более того, в той прозаизированно-грущённой обстановке Ершалаима, которая представлена панорамой, оно не мыслится.

Роман пропитан своеобразной религиозностью: своеобразной: ибо она не столько связана с культом, сколько с понятиями нравственными: зло должно быть наказано; а что наказывают его часто сами представители зла — так оно такая субстанция, что способна пожирать самоё себя...

Пластика булгаковского романа столь велика, что многим бы хотелось войти в него, принять участие; и Москва воспринимается вполне современно: более того, современная Москва, залитая бессчётными пёстрыми огнями соблазнов, в большей степени воландовская, нежели та...

Над суетой — Мастер: отчасти блаженный, отчасти провидец, в том же пальто с обрезанными пуговицами (верный признак ареста) возвращающийся, чтобы увидеть в любимом подвальчике попивающего чаёк Алоизия: одного из колоритных мерзавцев (пример негативного переодевания: казавшийся проникновенным читателем оказывается заурядным доносчиком)...

Бесконечные вихри загадок будут томить и впредь; и споры о том, является ли роман гимном сатане, будут раздаваться и дальше.

Нет, он светел: он — об огромности любви и о том, кто достоин света.

Правда, из представленных многочисленных персонажей, как выясняется, — никто.

ПЛАТОНОВ

1

Обнажённая боль прикасается к сердцу пространства: оно, как всегда, равнодушно, но не может писатель, вышедший из гущи, из дебри людской плазмы, быть равнодушным к жизни народа — ибо она ужасна.

Ужасна и густа, как пищевая, определяющая страсть, как необходимость еды, которой всегда мало, вечно не хватает, а та, что есть, настолько далека от правильного рациона, что разговор о справедливости становится невозможен.

Вращаются шестерёнки, едут паровозы — красивые, как фантастические звери, — ведутся мелиорационные работы: неистовое движение вверх охватывает самые дремучие народные пласты.

О! разумеется, тут нужен язык, какого не ведали прежде: ни писатели, ни читатели.

Сложно вывести языковые корни Андрея Платонова: нечто от Лескова, возможно? Сострадание, полученное от Достоевского? Линии, отчасти идущие от русского сказа?

Будто он — Платонов — появился из самого себя, строя фразу так, как раньше не приходило в голову никому, предлагая алогичные корневые решения и поднимая смыслоёмкость предложения на невероятную высоту.

От любого абзаца Платонова устаёшь, как от серьёзной работы: но настоящая литература и не может быть развлечением: слишком завязана на жизни и судьбах людских.

Даже нежность красок ни в коем случае не акварельна — но сила их занята у самой земли: так звучат «Третий сын» или «Июльская гроза».

В равной степени мастер и короткого рассказа, и монументальности романа, Платонов созидает своеобразную энциклопедию советской жизни, захватывая все моменты, какие только возможны в самом течении яви.

Но Платонов ещё и мыслитель — идущий от русского космизма, с мотива всеединства Николая Фёдорова...

Земное взято густо, но и небесное мерцает фрагментами такой сини, что задумываешься о правде и правильности земного.

едро одарил Платонов родную литературу, читателей и даже не-читателей: ибо книги его заряжены такой энергией, что способны облучать и тех, кто не читает художественных книг: феномен недоказуемый, но, хочется надеяться, вполне реальный.

2

Смерть — не отъезд в соседнюю губернию, но изменение измерений; и отец, пришедший на почту дать шесть телеграмм в разные концы Советского Союза, думал, возможно, о своих сыновьях как о находящихся в другом, параллельном пространстве.

Ибо телеграммы были краткими: «Мать умерла приезжай отец».

И рассказ «Третий сын» будет кратким, хотя от телеграфного стиля в языке Платонова нет ничего.

Двадцатый век лучшими своими писателями дал разные варианты стилистики, и были среди них истинно телеграфной жёсткости, например, стиль Леонида Добычина.

Было и роскошное цветение сада Бунина и Набокова, был сказово-метафизический стиль Леонида Леонова, но, вероятно, никто не погрузился в языковые глубины и бездны настолько, как это сделал Андрей Платонов.

Самые корни фраз открылись ему, хотя иные выглядят, как вывернутые наизнанку вещевые мешки: слишком вытряхнуто из них привычное, дабы новое наполнение грозило и жгло.

Жизнь тяжела?

Это банально...

Могучая гвардия сыновей, которой любителю отец, выглядит и впрямь мощно и уверенно и так странно, что мать, давшая столько крепкой плоти миру, оставила себе сухое, сморщенное тело.

Но даже поп, вписанный в рассказ, пришедший на дом совершать панихиду, воспринимается так крупно и выпукло, что становится понятно, насколько умел Платонов просвечивать сущность человека.

Попу, растерявшему, вероятно, веру, но не имеющему вариантов жизни, остаётся жаждать подвига, произнося ветхие, древние слова и совершая ритуалы, способные ли связать с закрытым миром? Нет ответа...

Но дальше драма проявится во взаимоотношении детей, так редко видящихся; и хотя мать ещё не погребена, детское, тёплое, озорное захлестнувшее их ночью и

вызвавшее тяжёлое недоумение третьего сына было сильнее их.

Всегда будет кто-то, относящийся к жизни с повышенной серьёзностью, — в данном случае это оказался третий сын.

И именно через него, через рубежный момент траурной ночи, вдруг представшей садом воспоминаний, и углубляется реальность, предложенная нам классиком.

3

Справедливость должна зародиться естественным путём: из воздуха и почвы, и коли так, почему бы ей не зародиться в Чевенгуре?

Коммунизм и справедливость были синонимами для Андрея Платонова, как один из ранних псевдонимов его — Человеков — свидетельствовал о желании вместить в себя всё разнообразие людей.

Тем не менее, персонажи Чевенгура слишком запредельны: они, с одной стороны, напоминают гомункулусов, хитро выращенных в лаборатории писателя, с другой, идут от таких низин, знание которых сегодня вряд ли кому-то открыто, но было доступно Платонову.

Стушение фразы выжигает сомнения: плоть повествования слишком реальна — хотя и базируется на фантастическом допущении.

Рабочая сила верна делу пролетариата, как сознательное существо — с почти человеческим разумом.

Небывалые эпитеты, мастерством которых всегда поражала проза Платонова, разрастаются садом, и иные цветы оно достигают экзотической высоты.

Мы едем дальше.

Мы увидим блаженный Чевенгур, где так просто ждать царствия небесного.

Но Иисус Христос, снова проходящий мимо, не посулит нам ничего сверхъестественного.

Кроме памятника романа, растущего из чернозёма ради феномена русского космизма, где объединяются мечта и правда.

Дванов, Пиюся, Копёнкин.

Мастер Захар Павлович, дети, нищebroды, с ароматной бородкой старик.

Мир, представленный, пронизан лучами абсурда.

Мир, данный на страницах, сияет утопическим золотом.

Пролетарская сила жуёт траву, ибо даже лошади коммунизма нужен корм.

Есть ещё одна, подспудно означенная, линия: всякое человеческое знание не полно по определению: мы постигаем только фрагменты мира, и попытки их переустроить всегда несколько неуклюжи.

В определённом смысле, роман «Чевенгур» — вариант Вавилонской башни, и то, что достроить невозможно, свидетельствует о чрезмерной грандиозности замысла...

4

Упорство, скоторымкопается котлованподогромное здание с названием социализм, постижимо Вощёвым лишь отчасти, ибо, имеющий склонность задумываться над ходом вещей вообще, он не очень полагается на множественные усилия.

Ребёнок будет жить за вас! — говорит Вощёв ругающимся родителям, с биологически-метафизической точностью обозначая простую сущность жизни.

Над хлебом можно ли думать?

Уроливый безногий, вымогающий еду у имущего, не столько отвратен, сколько выехал на своей тачке из Босха...

Отчасти босхиана и творится кругом — с лицами, слепленными из земли, с размахом пищевой страсти, кормёжки, съедающей столько жизненного времени и пространства.

Пространства всегда в избытке, и то, что человек, лёгши лицом в траву, видит корни травинки и рабочую суету муравьёв, только подчёркивает звёздность бесконечного неба.

Бесконечное нагромождение платоновских эпитетов завораживает: словно реальность языка вывернули наизнанку.

Или так перетряхнули мешок слов, что перемешались они, дав новые узоры.

Абзац тяжёл, как буханка, и его можно резать, чтобы проще было съесть (прочитать).

Ухает медведь-молотобоец.

Копается грандиозная яма.

Верит ли Вощёв в социализм, какой предложит людям подлинную меру?

Верил ли в него сам Платонов?

Порою кажется — не особенно, понимая, что если фразы можно изгибать так, как

гнул он, то всякое человеческое начинание достаточно условно — ибо человек зависим от языка и в большой мере формируется им.

И феномен языка Андрея Платонова будет поражать и облучать следующие поколения — по крайней мере, какое-то число их представителей.

5

Земное, изученное Платоновым до йот, — мелиорация, нищесбродство, электричество, жизнь масс, густота плазмы, прущей к чему-то...

Что, может быть, зародилось само, будучи справедливостью?

Ибо не зря же едет герой на Пролетарской силе в страну коммунизма, которая оборачивается чудовищным Чевенгуром.

Ибо не зря же копают, денно и ночью, усердно, без всякой меры яму под будущий социализм...

Почему-то Платонов «Третьего сына» и «Июльского ливня» нежнее и в чём-то ярче, чем Платонов двух великих, монструозных романов (попробуйте-ка даже не глупому современному старшекласснику привить любовь к подобному языку!)

Язык-слом?

Язык-откровение?

Так, люди-маски Зоценко говорят на невозможном волапуке, — выдранные из деревень, хлынувшие в города, живущие только низовым, пищевым, толстым — и всё равно: в чём-то выше предыдущих, ибо не зря же разворачивалась мистерия великого Октября, не для того же, чтоб Троцкий, по его дневниковой записи, объедался икрой после захвата власти.

Платонов и Циолковский... Ибо фиалковый космос Циолковского призывает человека к дальнему пределу: не говоря о постижении ближнего.

Платонов и Николай Фёдоров — старый, с хитроватым прищуром русский философ, встающий в своей каморке с сундука и глядящий в такие бездны, что у Льва Толстого захватывало дух (вроде бы граф говорил о счастье быть современником Фёдорова)...

...Ибо общее дело делается через Чевенгур, через бесконечный котлован, пусть кажется оно абсурдным, оно — как из Библии, из Ветхого завета — столь огромно, что муравьи, принимающие в нём участие, не могут знать о конечной цели.

Муравьи вырастут, нарушая законы природы — сравните уровень грамотности 1913 года и... 1933 хотя бы.

Муравьи вырастут — и в этом будут линии общего дела и зеркальный блеск русского космизма, играющий в недрах текстов Андрея Платонова.

Монструозных текстов.

Великих текстов.

Но галереи образов у него нет — то есть есть, конечно, масса персонажей, но напоминают они Големов, гомункулусов, выращенных лабораторно: не представить же, как Чичикова или Раскольников, Дванова и Пиюсю?

Тут иное: тут неустанная работа языка, язык как персонаж — и истории, и истории советской республики; язык — делающий нас, формирующий наши сознания, опороченный и полузабытый сегодня: превращённый в банальный передаточный механизм...

И только ради этого — необъяснимого цветения и благоухания языка стоит вчитываться в каждую фразу и абзац Андрея Платонова...

АСТАФЬЕВ

1

Подrostковое школьное сочинение было превращено в рассказ «Васюткино озеро», появившийся, как и другие первые рассказы Виктора Астафьева, в журнале «Чусовой рабочий»...

Война и деревня — два вектора, сложно сошедшиеся в космосе писателя, определили силовое поле его прозы: ставшей веховой в истории русской литературы советского периода.

«Стародуб», «Перевал», «Звездапад» — словно собирались из тех камней, что можно встретить в лесах: лобастых, больших, покрытых мхом времени.

Шероховатость шершавость становились мощными средствами выразительности; и древесина прозы обрабатывалась своеобразно: со специально оставляемыми, не обструганными фрагментами — чтобы ранили сильнее читательское восприятие, не

давали возможности пройти мимо, врезались в память.

Зоркость к деталям была необычайна: точно своеобразные окуляры направлены были на действительность, дабы высветить самое характерное, и дать через деталь многое; живая плазма слова бурлила: казалось, мозг писателя словно был переполнен ими: жаждущими свободы воплощения.

Взгляд на войну передавался через восприятия простого солдата: на котором всё и держится; иногда — младшего офицера; и обезличенный Ванька-взводный, выдерживающий колоссальную нагрузку, что бы ни происходило, — уникальный собирательный образ Астафьева, знавшего окопную правду изнутри: как и наждачную её сторону, резко и грубо обрабатывающую души.

«Царь-рыба» — роман в новеллах; повествование столь же глобальное, сколь и провидческое: в центре своём лелея Игнатъича: умелого и уважаемого в деревне рыбака, разоблачает жадность, жажду наживы, затягивающий омут потребления любой ценой — разоблачая невозможное, потребительское отношение к природе: дающей жизнь, поющей сотнями голосов; производящей — в том числе — великолепных таких чудовищ — как царь-рыба: осётр...

...А вот взвод лейтенанта Бориса Костяева: который среди прочих соединений участвует в бою против прорвавшего оборону противника.

Взвод, останавливающийся после боя на хуторе, хозяйка дома — Люся, краткое счастье любви в недрах продолжающейся войны: так строится сюжет «Пастуха и пастушки»: пасторали, по определению писателя.

Современной пасторали, уходящей жарким составом любви и тоски в вечность, где, может быть, уютнее, чем на земле...

Пронизывали токи небесные тёртые, мощные книги Астафьева, знавшего, по его словам, богословие весьма неплохо?

В сильной мере: согревая теплом и лиризмом; даже тогда, когда, казалось бы, выхода не было...

Роман «Прокляты и убиты» не мог быть закончен: ибо дёготь войны не смывался из памяти, и новые и новые образы, выходявшие на сцену, чтобы погибнуть, подтверждали невозможность забвенья.

Астафьев возводил храм книг: мощно увеличивая своды, расширяя пределы, внося новые и новые детали: и храм этот велик, и, словно через прозрачный его купол, льются лучи вечности в феноменальное строение, созданное из книг.

2

Две крайние точки проявления человеческого бытования: любовь и война, и, совмещённые, встроенные в реальность под ракурсом: любовь на войне, — становятся они вдвойне взрывными: немудрено, что повесть «Пастух и пастушка» перенасыщена эмоционально, чрезмерно наэлектризована, буквально ощущаешь разорванные метафизические провода, из которых бьют искровые потоки.

Просто и пронзительно создаёт Астафьев повесть: силы и огня, радости и муки, жизни и смерти; ясно и яростно выписывает ситуации, данные обстоятельствами, которым невозможно противостоять.

Выстоять — и остаться человеком; помимо того, что — выстоять и победить...

Психика не останется целой: она будет искромсана, и сможет ли урвать любовь?

В иных случаях — нет.

...Он умирает не от ранения: от страшного надрыва, взорвавшего психический строй его души.

Он — Борис.

Пастух, главный персонаж; встретивший первую любовь посреди фронта, наполнившийся воспоминаниями о доме, малой родине, свете...

Просто и ясно, сильно и сложно; не сопереживать невозможно; как невозможно современному человеку представить всего, чем давила война: даже выживших...

3

...Будут прокляты и убиты.

Все, затевающие войны, распри, смертоубийства, — будут прокляты и убиты.

Начертано на одной из стихир, имевшихся у старообрядцев.

Среди новобранцев, прибывших в запасной полк, был и старообрядец — силач Коля Рындин.

Был и блатной Зеленцов, и симулянт Петька Мусиков, и, и...

Людская смесь, людская плазма, готовая к смерти; пока ещё не прокляты и убиты те, кто затевают войны.

Роман Астафьева не мог быть окончен, ибо проблемы, поднимаемые им, не решаемы в принципе, но вот то, что через обе части романа проходит огненной нитью мысль о наказании Божиим советских людей посредством войны, — было новостью.

Особенно непривычно воспринималось это в отсветах того огня, который представляла собой биография Астафьева — и человеческая, и литературная.

...Боеспособный, сплочённый коллектив получается из новобранцев; постоянное недоедание, голод, холод, конфликты, командир, насмерть забивающий доходягу.

Наждачный натурализм потрясает.

Как будто так не могло быть — но было.

...Прокляты и убиты, прокляты и убиты — как заклинание; и уже не понять: к кому относится сие; и зачем было начертано на старообрядческой стихире, даже богатырь Рындин не вспомнит.

Линия сюжета рвётся, на описания боёв наплывают описания довоенной жизни; и во второй части романа — «Плацдарме» — смерть царит...

Путь из Чёртовой ямы — в неё обоснован.

...Вот только затевающие войны вновь жируют и не верят, что будут сами они прокляты и убиты.

4

Война и деревня — два полюса, определяющие махины романов и повестей Астафьева — тёртых в лапах бед и событий, достойных античного трагизма — впрочем, превосходящих его, ибо размах двадцатого века и не приснился бы розово-мраморным ветхим временам...

Деревня Астафьева — оплот жизни, корневое, земляное: гущь российская.

Война — огонь подвига безымянной плазмы людской, разлетающейся брызгами смертей; и образ воина, обезличенного ваньки-взводного, что выдержит всё, встаёт, как из былин.

Царь-рыба плывёт, доплеснув хвостом до звёзд небесных, а брюхом касаясь волшебного Китежа, который никак не всплывёт.

«Перевал» столь же вынут из жизни, как любой из пейзажей, данных крутою солью слов.

«Прокляты и убиты» — слова, зафиксированные на одной из старообрядческих стихир, — как письма хроник, уходящих в века.

Громоздятся тома, пропущенные через жернова боли и просеянные через сито надежд, громоздятся целостностью своею, укрепляя действительность, всё более охочую до развлечений и всё менее заинтересованную в серьёзном чтении.

5

Есть знаковая сила в том, что герой становится жертвой собственного промысла; и Игнатий, вспоминая деда, рассказывавшего, что встреча с царь-рыбой может обернуться бедой, оценивает рассказ старика уже собственной судьбой.

...Нечто безмолвно нависающее над нами; субстанция, определяющая жизнь настолько, что рассуждения о выборе выглядят вариантом байки.

«Царь-рыба» Астафьева, выстраиваясь блоками новелл, постепенно подводит к стержневому повествованию, давшему название книге: книге, сильно протёртой в ладонях огромного опыта и просвеченной острыми лучевыми линиями мастерства.

Могучий осётр — подлинный царь речных вод — становится символом: и природного величия, и таинственного замысла силы, творившей любое естество.

Человек, сделавшись заложником избыточного потребления, теряет собственную суть, требуя всё большую и большую меру материальных благ; человек, разрывающий тончайшие связи с природой, обречён на ужасное блужданье в смысловых потёмках: без прикосновения к правде, красоте, тотальной осмысленности бытия.

Потребление — бог и царь финала двадцатого века — выводит подданных своих на новые ступени в двадцать первом: ещё более крутые, заставляющие не считаться ни с чем.

История, произошедшая с Игнатием, так точно сфокусированная и ярко выписанная Виктором Астафьевым, в сущности, провидение: человек становится жертвою ловушек, расставленных им же...

Как плавно и величественно звучит природа в астафьевских описаниях!

Сколько синевы в глубинах вод и тайной музыки в лесных дебрях!

Сколько труда нужно положить, чтобы, вслушиваясь в недра природы, ощутить связь свою неразрывную со всем, бликующим бесконечностью, мирозданием...

И мудрая царь-рыба, плеснув, уходит в тайну свою, призывая прислушаться к ней, как к вечности.